

ОБ ОДНОМ ТЮТЧЕВСКОМ МОТИВЕ В ЛИРИКЕ АХМАТОВОЙ

«... В 1936 я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому... Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже, судить не мне. 1940 — апогей» [1, с. 251]. Так определила сама Ахматова в автобиографических заметках тот период, который становится в ее творчестве периодом «второго рождения». Действительно, сороковой год во многих отношениях является для поэта годом переломным. Именно в это время формируется специфический ахматовский лироэпос: в основном завершается «Реквием», создается поэма «Путем всея земли», наконец, начинается работа над «Поэмой без героя». Во вступлении к ней уже поэтически сформулировано ахматовское мироощущение той поры: «Из года сорокового, / Как с башни на все гляжу. / Как будто прощаюсь снова / С тем, с чем давно простилась, / Как будто перекрестилась / И под темные своды схожу».

Лев Озеров, размышляя о творческом пути Ахматовой, писал: «У ранней Ахматовой мы почти не встречаем произведений, в которых было бы описано и обобщено время... В позднейших же циклах историзм определяется как способ познания мира и бытия человека» [2, с. 180]. Переход Ахматовой от условно говоря «внеисторизма» ранней лирики к «историзму» поздней был драматичен. Эта драма — личная и социальная — нашла воплощение в ряде ахматовских произведений второй половины 30-х годов. Одно из них — стихотворение 40-го года «Ива».

В автобиографической ахматовской прозе читаем: «Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным», И дальше: «... Где-то около 50 лет все начало жизни возвращается к нему, Этим объясняются некоторые мои стихи 1940 года („Ива“, „Пятнадцатилетние руки...“), которые, как известно, вызвали упреки в том, что я тянусь к прошлому» [1, с. 244]. «Тяга к прошлому», характерная для ахматовского творчества второй половины 30—40-х годов, есть следствие ситуации духовного кризиса. В подобной ситуации актуализируется роль традиции как нравственной опоры в стремительно и катастрофически меняющемся бытии. Такая актуализация была особенно значима именно для Ахматовой, уже в первых книгах заявившей о себе как о наследнице и продолжательнице традиций русской классической литературы XIX в.

Закономерно, что уже в начальных откликах, посвященных ахматовской лирике, одним из основных был вопрос о «корнях» поэта. Не формальная традиционность как внешняя сторона чисто механической связи с предшественниками, а живая традиция как органическая сущность ахматовского мира — вот что прежде всего привлекало внимание исследователей. В связи с традициями ахматовской поэзии говорилось о русском романе XIX столетия [3, с. 175], указывалось на взаимодействие русской классической элегии (Батюшков, Баратынский, Тютчев) с типично модернистскими приемами и элементами фольклора [4, с. 432],

ОБ ОДНОМ ТЮТЧЕВСКОМ МОТИВЕ В ЛИРИКЕ АХМАТОВОЙ

«... В 1936 я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому... Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже, судить не мне. 1940 — апогей» [1, с. 251]. Так определила сама Ахматова в автобиографических заметках тот период, который становится в ее творчестве периодом «второго рождения». Действительно, сороковой год во многих отношениях является для поэта годом переломным. Именно в это время формируется специфический ахматовский лироэпос: в основном завершается «Реквием», создается поэма «Путем всея земли», наконец, начинается работа над «Поэмой без героя». Во вступлении к ней уже поэтически сформулировано ахматовское мироощущение той поры: «Из года сорокового, / Как с башни на все гляжу. / Как будто прощаюсь снова / С тем, с чем давно простилась, / Как будто перекрестилась / И под темные своды схожу».

Лев Озеров, размышляя о творческом пути Ахматовой, писал: «У ранней Ахматовой мы почти не встречаем произведений, в которых было бы описано и обобщено время... В позднейших же циклах историзм определяется как способ познания мира и бытия человека» [2, с. 180]. Переход Ахматовой от условно говоря «внеисторизма» ранней лирики к «историзму» поздней был драматичен. Эта драма — личная и социальная — нашла воплощение в ряде ахматовских произведений второй половины 30-х годов. Одно из них — стихотворение 40-го года «Ива».

В автобиографической ахматовской прозе читаем: «Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным», И дальше: «... Где-то около 50 лет все начало жизни возвращается к нему, Этим объясняются некоторые мои стихи 1940 года („Ива“, „Пятнадцатилетние руки...“), которые, как известно, вызвали упреки в том, что я тянусь к прошлому» [1, с. 244]. «Тяга к прошлому», характерная для ахматовского творчества второй половины 30—40-х годов, есть следствие ситуации духовного кризиса. В подобной ситуации актуализируется роль традиции как нравственной опоры в стремительно и катастрофически меняющемся бытии. Такая актуализация была особенно значима именно для Ахматовой, уже в первых книгах заявившей о себе как о наследнице и продолжательнице традиций русской классической литературы XIX в.

Закономерно, что уже в начальных откликах, посвященных ахматовской лирике, одним из основных был вопрос о «корнях» поэта. Не формальная традиционность как внешняя сторона чисто механической связи с предшественниками, а живая традиция как органическая сущность ахматовского мира — вот что прежде всего привлекало внимание исследователей. В связи с традициями ахматовской поэзии говорилось о русском романе XIX столетия [3, с. 175], указывалось на взаимодействие русской классической элегии (Батюшков, Баратынский, Тютчев) с типично модернистскими приемами и элементами фольклора [4, с. 432],

Но в первую очередь устанавливались и обосновывались связи между Ахматовой и пушкинской традицией. Такой подход, растворяющий многообразные миры русской лирики в единой генерализующей системе, имеет глубокие основания в нашей национальной культуре. Дополнительные же основания для него давала сама Ахматова: общеизвестен ее и собственно поэтический, и исследовательский интерес к жизни и творчеству Пушкина. Но данный подход к вопросу об ахматовских истоках явно недостаточно учитывает природу взаимовлияния *разных*, нередко противоречивых тенденций в поэзии Ахматовой на *разных* этапах ее развития.

Еще В. М. Жирмунский отмечал, что «многочисленные русские и иностранные эпитафии... сознательно раскрывают и подчеркивают связь ее (Ахматовой. — *И. Н.*) интимных переживаний с мировыми поэтическими темами» [5, с. 52]. Правомерность этого суждения, по-видимому, распространяется не только на эпитафии, но и на реминисценции, частые в ахматовской лирике. С этой точки зрения рассмотрим миниатюру «Ива». Ей предпослан эпитаф из пушкинской элегии 1819 г. «Царское село», ее заключает реминисценция из тютчевского стихотворения 1849 г. «Итак, опять увиделся я с вами...». Но если связь с Пушкиным едва ли требует доказательств, то сложнее обстоит дело с выявлением тютчевского начала в ахматовской лирике. У Ахматовой нет специальных исследований, посвященных творчеству Тютчева. Но по ряду косвенных свидетельств можно судить о том, насколько лично воспринимала Ахматова тютчевскую поэзию. Так, в 1965 г., размышляя об Иннокентии Анненском, она скажет: «... Анненский должен занять в нашей поэзии такое же почетное место, как Баратынский, Тютчев, Фет» [1, с. 203].

В качестве эпитафии к поэтической книге «*Anno Domini*» избирается строка из тютчевского стихотворения «Я знал ее еще тогда...». Еще ранее, в 1915 г., Ахматова создает стихотворение «Из памяти твоей я выну этот день...», в финале которого слышна перекличка не только с общим евангельским первоисточником («Верую, Господи! Помоги моему неверию»), но и с заключительным тютчевским четверостишием из миниатюры «Наш век». Сравним:

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!»
(Тютчев)

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».
(Ахматова)

Воздействие Тютчева на раннюю ахматовскую лирику угадывается и в распространенности жанра «фрагмента», и в следовании принципу лирического дневника, и в особенностях циклизации произведений. На философские и психологические соответствия указывал А. И. Павловский: «Любовная лирика Ахматовой неизбежно приводит всякого к воспоминаниям о Тютчеве. Бурное столкновение страстей, тютчевский „поединок роковой“ — все это в наше время воскресло именно у Ахматовой» [6, с. 82]. Однако помимо любовной лирики есть и иные, не менее существенные связи Ахматовой с тютчевской традицией, касающиеся самих основ мироощущения личности в истории, ее отношения к прошлому (и с прошлым) и настоящему (и с настоящим), причем тяготение Ахматовой к Тютчеву, вероятно, усиливается во второй половине 30-х годов. Потому быть может, что тютчевская поэзия с исключительной энергией и полнотой воплотила в себе универсальный образ кризисного мира,

мира, находящегося в предчувствии катастрофы. Знаменательно, что тема «рушащихся миров» возникает уже в начальных строках заглавного стихотворения «неосуществленной книги» «Тростник», куда, по мысли поэта, должна была войти «Ива»:

Почти от залетейской тени
В тот час, как рвутся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары...
(«Надпись на книге»)

Да и само название «неосуществленной книги», «Тростник», не напоминает ли об одной из ключевых тютчевских строф: «Откуда, как разлад возник, / И от чего же в общем хоре / Душа не то поет, что море, / И роцует мыслящий тростник?»

Но каковы же отличительные признаки тютчевского понимания исторического времени, отличительные в сопоставлении с основополагающей идеей пушкинской исторической преемственности? Восприятие исторического процесса Пушкиным есть восприятие в основе своей объективированное и конкретное. Отсюда — распаханность пушкинского мира как в былое, так и в грядущее, обилие исторических сюжетов в пушкинском творчестве и т. д. Иначе у Тютчева. Жизнь, по Тютчеву, «вся в настоящем разлита», прошлое призрачно и неспособно в силу этого подготавливать настоящее и влиять на него. У Пушкина связь времен утверждается как незыблемость, у Тютчева — связь времен распадается как иллюзия. Может быть, особенно явственно это различие при сопоставлении отношения двух поэтов к таким понятиям, как род, родовая память, родовая связь. «Любовь к отеческим гробам» — одна из важнейших нравственных заповедей в пушкинском восприятии истории.

Совершенно иное у Тютчева, в тех его творениях, где так или иначе заявлена тема родовой связи. Например, в миниатюре 1851 г. «Святая ночь на небосклон взошла...»: «И в чуждом, неразгаданном, ночном / Он узнает наследье родовое». То же в стихотворении, написанном в связи со смертью старшего брата Николая: «Бесследно все — и так легко не быть! / При мне иль без меня — что нужды в том? / Все будет то ж — и вьюга так же выть, / И тот же мрак, и та же степь кругом». Родовое наследие человека — не в историческом былом, а в природном хаосе. Если у Пушкина — линейное время, родословная, семейная хроника, то у Тютчева — «вечное настоящее» природного, космического целого. С этим, по-видимому, связана не слишком приметная, но устойчивая в тютчевской лирике тема сиротства личности в истории. Как же взаимодействуют пушкинское и тютчевское в «Иве»? Приведем ахматовскую миниатюру полностью.

И дряхлый пук дерев.
Пушкин

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву.
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями
Бессонницу овеивала снами.
И — странно! — я ее пережила.
Там пень горчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу... Как будто умер брат.

Не исключено, что образ умершего брата имеет корни в следующей тютчевской строфе, где поэт обращается к «детскому возрасту»:

О бедный призрак, немощный и смутный,
 Забытого, загадочного счастья!
 О, как теперь, без веры и участия,
 Смотрю я на тебя, мой гость минутный.
 Куда как чужд ты стал в моих глазах,
 Как брат меньшей, умерший в пеленах.

Сходство ситуативное (возвращение в места детства и отрочества), текстуальная переключка, тождество метрической организации — все это позволяет говорить о возможности нашего сопоставления. Между тем есть и немаловажные отличия в характере сравнения у Тютчева и Ахматовой. У Тютчева оно завершает строфу, но не произведение в целом, у Ахматовой — вынесено в финал. У Тютчева — сравнительный оборот, не способный даже грамматически существовать автономно, у Ахматовой — самостоятельное предложение. Совокупность этих черт делает ахматовское сравнение былого с «умершим братом» подчеркнуто значимым, придает ему свойства символического обобщения, что едва ли справедливо по отношению к тютчевскому тексту.

В «Иве» в полный голос звучит мотив разрушенной родовой связи. Разрушенной насильственно. Сопоставим: в эпитафии — «дряхлый пук дерев», у Ахматовой — «там пень торчит». В первом случае — естественное умирание, во втором — насильственная смерть: «пень» ассоциируется прежде всего с делом лесоруба или вмешательством стихии. К образу погибшей ивы Ахматова обращается не однажды. Вот пример из эпилога «Реквиема»: «И если когда-нибудь в этой стране / Поставить задумают памятник мне, / Согласье на это даю торжество, / С одним лишь условием: не ставить его / Ни около моря, где я родилась — / Последняя с морем разорвана связь, / Ни в Царском саду у заветного пня, / Где тень безутешная ищет меня...». Последняя из процитированных строк появляется и в автобиографических заметках: «Людам моего поколения не грозит печальное возвращение — нам возвращаться некуда... Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского Вокзала... на те места, где тень безутешная ищет меня...» [1, с. 242]. Итак: «Ива» — Царское Село, Царское Село — Пушкин. Погибшая ива есть свидетельство разрушенной цепи времени, «разорванной связи» с миром исторической и культурной преемственности. Здесь — истоки чисто тютчевского мотива «пережитой жизни». В «Иве» трагическое осознание исчерпанности целой системы ценностей закреплено множеством средств.

Стихотворение очевидно распадается на две части: первая часть — воспоминание, вторая — восприятие и воплощение *настоящего*. Граница между частями — десятый стих: «И — странно! — я ее пережила». В первой части глаголы, хотя и стоящие в прошедшем времени, тем не менее передают ощущение развивающегося мира: росла, любила, жила, овеивала. Это глаголы движения. В заключительном же четверостишии использованные глаголы настоящего времени (кроме последнего) создают ощущение абсолютной статики, неподвижного, лишённого внутренних потенций бытия:

Там пень торчит. Чужими голосами
 Другие ивы что-то говорят
 Под нашими, под теми небесами.
 И я молчу... Как будто умер брат (курсив наш. — И. А.)

В начальной части избранные определения семантически активны и несут ярко выраженную позитивную оценку, оценку приятия: узорная тишина, прохладная детская молодого века, серебряная и благодарная ива, плакучие ветви: в финале — за счет в основном местоименного происхождения — определения семантически пассивны: чужие голоса, другие ивы, наши и те небеса. Но и само изобилие местоимений в пределах последней строфы (почти треть всех полнозначных слов) говорит о многом.

Не называющие, а указывающие местоимения формируют особую атмосферу условного языка, своеобразного «шифра», понятного лишь автору и реальному или же также условному адресату, но «закрытого» для современной поэту действительности. Вся совокупность художественных средств, вплоть до бедной, однокорневой рифмы «жила — пережила», говорит о духовной драме, о катастрофически измененном образе мира.

Быть может, в стихе, разделяющем произведение на две части, скрыт и полемический оттенок по отношению к пушкинскому: «Гляжу ль на дуб уединенный, / Уж мыслю: патриарх лесов / Переживет мой прах забвенный, / Как пережил он век отцов». Реальность, воплощаемая Ахматовой, есть реальность, обратная пушкинской: для Пушкина мотив «пережитой жизни», главный в «Иве», едва ли мог стать сколько-нибудь существенным и постоянным. Жизнь как целое, жизнь природы и история для Пушкина всегда бесконечно значительнее жизни частной. Но, с другой стороны, усиление тютчевского мотива, связанного с восприятием прошлого как иллюзии, максимально активизирует нравственное самосознание личности. Она (личность) «лицом к лицу пред пропастью темной» вынуждена полагаться только на самое себя. Ощущение исторического сиротства, когда «нет извне опоры, ни предела», когда цепь времен разомкнута и нельзя опереться на минувшее, неизменно усиливает личную этическую ответственность человека перед настоящим и будущим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 2.
2. Озеров Л. Работа поэта. М., 1963.
3. Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987.
4. Эйхенбаум Б. О прозе и поэзии. Л., 1986.
5. Жирмунский В. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.
6. Павловский А. Анна Ахматова. Л., 1982.